

## Григорий Померанц

### «Мое» и «не мое» в водовороте культур

В прениях после лекции о понятии «подлинности» у Шмемана я почувствовал упрек, что не вполне оценил достоинства его стихийно сложившегося самоограничения. Видимо, надо различать широкую зону внимания к глобальным событиям и зону творческой активности. В сферах, где выкладки разума не поддаются экспериментальной проверке и теории (вроде той, которая увлекла Раскольников) опровергаются только движением сердца, зона творческой активности ограничена пределами, в которых действует «сердечный ум». За незримыми рубежами того, что мы нравственно осязаем, а не только выстраиваем в уме, исследование скользит по бумаге, на которой мы пишем, и уходит от жизни. Сравнивая один людской опыт с другим, приходится учитывать не только широту кругозора, но и интенсивность захваченности, остроту личного участия в затронутых проблемах и даже не столько в проблемах, сколько в людях, судьба которых становится символом проблем. С такой точки зрения дневники Шмемана – живой пример истинности известных слов Гегеля (которым Гегель не всегда следовал): абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.

Схемы, охватывающие всю полноту истории, неизбежно теряют в интенсивности захвата одного мига жизни. Сравнивая свою собственную «теорию субэкумен» с «Записками гадкого утенка», я вижу, что субэкумены довольно абстрактны, а «Записки гадкого утенка» субъективны – но в этой субъективности конкретны и трансубъективнее. Термин, придуманный Бердяевым, трансубъективность, означает глубину личного опыта, в котором мы

достигаем царствия, лежащего внутри нас, но принадлежащего не только нам, Царствия Божия, свет которого преломился через нашу личность, через мгновения нашей подлинности, когда внутренний опыт приобретает яркость внешнего света или просто присоединяется по аналогии к внешней вспышке света, к отблеску солнца от автомобильного стекла в Великую Субботу, как это случилось у Шмемана. И он всю жизнь вспоминал Великую Субботу.

В таких случаях личный опыт становится сверхличным, транссубъективным, и возникают книги не столько об истории, сколько о человеке, которого история гоняет, как бильярдный шар, а он остается самим собой. Я иногда вспоминаю название главы в романе Ильфа и Петрова: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». О трех годах, 1946–1949, когда судьба вышибла из моих рук трубу, запретила задуманную мелодию, а новую я не смог придумать, мне как-то нечего, неохота и стыдно писать; и арест, поставивший меня на одну из больших дорог русской истории, через тюрьмы и лагеря, я принял как исследователь, входящий в джунгли, как сталкер – в запретную зону, и с радостной готовностью стал впитывать в себя рассказы о Воркуте и Колыме. Для многих «повторников», арестованных именно для того, чтобы они ничего никому не рассказали, это бросало луч смысла на их очередной повтор тюремного и лагерного абсурда, и я выслушивал одну исповедь за другой, и опыт «поколения 1937 года» становился моим опытом и расширял мое чувство самого себя.

Мое школьное сочинение «Кем быть» заканчивалось словами «Я хочу быть самим собой». Учитель счел это мальчишеской позой и отчитал меня, но он был неправ. Я вынашивал свою задачу с пятнадцати лет, и выбрал Институт истории, философии и литературы не для специальности, а как возможность продолжать поиски своей

собственной глубины, поиска слов, в которых я чувствовал подлинно «мое». В личном запасе тогда уже были слова Гамлета, брошенные Розенкрансу и Гильденстерну: «вы можете меня расстроить, но не играть на мне», и слова Стендаля в предисловии к роману «Люсьен Левен»: «позиция автора имеет только один недостаток: каждая партия может считать его членом партии своих врагов»... Я уже вдумывался в слова Фауста Мефистофелю: «В твоём ничто я мыслю все найти»... И куда бы меня ни швыряло, я расширял свой запас.

В этот запас вошел и мой первый бой. Я пережил его как встречу с историей, выход из книжных впечатлений во встречу жизни со смертью и продолжал потом практические занятия на тему полета над страхом, «вдохновения в бою» и ужаса массового побоища... Я одновременно учился жить в бою и созерцал эту жизнь-смерть со стороны. И после ареста я вошел в камеру № 16 на Малой Лубянке как в аудиторию, где передо мной раскроются новые повороты жизни. Любая передрыга может стать незабываемым опытом и войти в строй личности. Забываются целые книги, забываются пустые годы и врезаются в память один день, одна фраза, как слова Антония Сурожского: «грех – это потеря контакта с собственной глубиной». Такое не доказывается, а прямо становится своим.

В одной из недавних лекций я попытался трактовать фразу Антония как аксиому и дополнить ее зеркальным подобием: святость – устойчивый контакт с собственной глубиной. Однако термины богословия не похожи на термины математики, у них нет фиксированного смысла, они все время меняют оттенки в опыте святых и грешников. И геометрическую прямую грех–святость приходится гнуть и ломать, превращать полюса духовного магнита в метафоры, временами противостоящих друг другу, а временами вдруг

сближающиеся в парадоксе, как у Шмемана: «Бог нужен святым и грешникам, а религиозным людям Он не нужен...» Задумавшись над этим, я по ассоциации вспомнил другое противопоставление, более мягкое. Им часто пользовалась покойная Ира Муравьева: «моё» и «не моё», без проповеди «моего» и презрительных слов к «не моему».

Ира как-то удивила меня, сказав о Пушкине: «Это не мое. Он какой-то круглый». Я привык, что для многих чужим остался Достоевский. Но Пушкин! Я ничего не мог в Ире оттолкнуть, я должен был понять ее. Кажется, она воспринимала Пушкина оставшимся в прошлом, от которого мы оторвались. Сейчас творилось что-то такое, чего классики, от Гомера до Пушкина, не пережили и не помогали нам пережить. Мандельштам в «Тристиях» пытался остаться классиком во взорванном времени, но в «Воронежских тетрадах» история его опрокидывает. Как, однако, быть с «ценностей незыблемой скалой», с безусловностью некоторых страниц, остающихся, как скалы среди приливов и отливов?

Когда я начал понимать Достоевского, на четвертом курсе, я тут же написал курсовую работу с воинственным заглавием: «Величайший русский писатель». И не побоялся противопоставить свое открытие всем тогдашним авторитетам. В том числе Ленину. Хотя дело было в 1938-39 учебном году, и 1937 год еще не совсем кончился. К счастью, моя антимарксистская вылазка обсуждалась и осуждалась в короткий миг усталости от Большого террора, и компетентные органы ограничились мерами кротости: завели очередную папку с надписью «хранить вечно», и туда аккуратно укладывались неосторожные слова, которые я разбрасывал в аудиториях и коридорах ИФЛИ. Отрывки мне зачитал следователь, лет через десять. Но прошло еще десять и еще десять лет, пока я понял, что зря горячился. Многим людям, которым нравились

мои очерки о Достоевском, было трудно, мучительно читать самого Достоевского. Синявский очень ярко описал лихорадку, которой романы Достоевского его заражали, прибавьте к этому отзывы Флоренского<sup>1</sup>, наконец – вспомним, что Шмеман Достоевского никогда не перечитывал, кроме «Братьев Карамазовых», которых богослову просто нельзя обойти. Мой анализ подчеркивал вспышки света, прорвавшегося сквозь темное подполье, и само подполье я представлял себе, как грешник свой квадрильон, когда уже, прошел квадрильон верст и оказался в раю. Я чувствовал роман Достоевского именно так, я с первых страниц воспринимал ритм шагов, ведущих к небу – сквозь все тернии земли. Но передать это чувство Ире я не мог. Пришлось удовлетвориться тем, что одного героя Достоевского – князя Мышкина – она очень любила. Он был для нее островом «моего» в целом море «не моего».

Постепенно я убедился, что «не мое» имело для Иры множество оттенков – непереносимости, неуютности, простой ненужности и даже «любви издалека», например, во фразе, которую я много раз от нее слышал: «я люблю христиан, но сама я не христианка и врагам своим не прощаю» (но не слишком много и думаю о них, – чувствовал я в подтексте, – предпочитаю думать о том, что дает радость).

Ирино «не мое» распространялось и на «Илиаду». Я пытался рассказать, как потрясло меня прощание Гектора с Андромахой (перевод Гнедича я прочел дважды). «Знаю, отвечала Ира. – Я об этом лекции читала». Она действительно читала, в Петрозаводском университете, всю мировую литературу, «от Гомера до Фарера» Но любимым эпосом был ирландский, не вошедший в минимум образованности, и любимым

---

<sup>1</sup> Его утомляли сцены скандалов, но в то же время он признавал, что некоторые истины могут быть высказаны только в обстановке скандала.

эпическим героем – герой этого эпоса, Кухулин, с его тремя пороками: он был слишком молод, слишком храбр и слишком красив. Эти три порока, три «слишком», захватили ее больше античного равновесия.

Кухулин не подчинялся никаким запретам. Он сам себе давал зарюки. И все это находило глубокий отклик в ее личности, вместе с последними отчаянными рывками умирающего серебряного века, с ахматовским «Какая есть! Желая вам другую!» и с искрами, оставленными заблудившемся трамваем Николая Гумилева:

Поздно! Уж мы обогнули стену,  
 Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
 Через Неву, через Нил и Сену  
 Мы прогремели по трем мостам.  
 .....  
 Где я? Так томно и так тревожно  
 Сердце мое стучит в ответ.  
 Видишь вокзал, на котором можно  
 В Индию духа купить билет?..  
 .....

Это ее особенно захватывало. Я предпочитал у Гумилева «Слово» и «Шестое чувство», я чувствовал там прорыв сквозь бури к «оси земной». Но и меня влекло кружение, в котором из Невы в Сену плывут по Нилу, минуя рощи пальм.

В одном из последних дневников Шмемана можно найти каскад гендерных оппозиций: «Мужчина – правило, женщина – исключение» – и т.п. Эта установка на исключения пряталась в самой Ире, под аккуратной академической мантией рационалистки. И декадентские стихи она иногда – наедине – читала так, словно сама их написала.

Герцен верно заметил, что женщина иногда складывается быстрее мужчины и становится законченной годам к двадцати, а нам, пробиваясь сквозь философские абстракции, и тридцати пяти не хватает. Ира отбросила все, чему ее учили в школе, в семнадцать лет, когда арестовали старшего брата, и с тех пор слушалась только себя самой, без колебаний доверяясь движениям сердца. Там, где царствует добродетель, это легко могло стать пороком, но в мире, где мы жили, хорошо отсекало целые пласты фальши. Хотя про себя я замечал, что ее верность себе была скорее верностью пути, а не остановке на первом повороте, и оценки «мое» и «не мое» иногда менялись. Я думаю, что такие текучие оценки могут пригодиться и в диалоге культур. Здесь я кончаю зигзаг в сторону диалога двух людей, постепенно выстраивающих свой общий мир, и перехожу к теме, названной в заглавии, – о современном глобальном водовороте.

Что-то странное, идиоматическое есть в каждом лице, в отдельной нации, отдельном культурном круге, особенно там, где не было никакой общей истории. Например – между Западом и Дальним Востоком. Приведу сразу простой пример. Академик Алексеев, синолог, обладал неплохим басом. Друзья-китайцы, прослышав об этом, попросили его спеть. Алексеев запел арию Гремина. И вдруг китайцев словно подменили. Они стали ерзать, переглядываться, улыбаться. Один, не выдержав, захохотал, вслед за ним захохотали все. Алексеев остановился и ждал, чем все это объяснится. Наконец, он разобрал слова: «Рев быка!»

Оказалось, что для китайской культуры бас – за гранью человеческой речи. Это что-то из области «языков зверей и птиц», как в имперских анналах именовали разговоры соседей империи. Люди, поющие басом, и традиционные китайцы, отрицающие эту возможность, были

идиоматичны друг для друга. Если оставаться на этом уровне, прав Шпенглер: «Араб никогда не поймет китайца»; или, по более известной формуле Киплинга, «Запад есть Запад и Восток есть Восток».

Однако японская гравюра подтолкнула рождение французского импрессионизма, а мы с Ирой, попав на выставку китайской живописи гор и вод, без всякой подготовки, сразу погрузились в трепетное чувство, которое давали чайки в тумане Клода Моне. А привычка вглядываться в современные абстрактные композиции позволила мне сразу почувствовать ритм средневековой иероглифической скорописи.

Образцов ее было довольно много в книге Судзуки «Дзэн и японская культура». И однажды я попросил Зинаиду Миркину взглянуть на автограф старца XVII в. Такуана и по почерку определить его характер (по европейским почеркам она это умела). Вглядевшись, Зинаида Александровна сказала, что впечатление у нее странное. Чувствуется глубина созерцания – и в то же время пристрастие к церемониям. Я подумал, что она ошиблась. Но в следующей главе было написано, что Такуана пригласили во дворец сёгуна как знатока чайной церемонии. Церемония эта возникла в дзэнских монастырях и оттуда перешла в обычаи самураев.

Я предложил Зинаиде Александровне на экспертизу и другие рукописи, а потом сравнил их с характеристиками известных старцев в книге Р.О.Блайса «Дзэн и дзэнские классики». Графологические впечатления в общем совпадали с характеристиками Блайса. Значит, стена между Европой и Дальним Востоком кое-где прозрачна. Значит стоит присмотреться к мнению Блайса, что нечто дзэнское есть в самой европейской культуре: «у Баха всегда, у Моцарта часто – и в последних квартетах Бетховена». А также – это покажется странным – в византийской иконе, дающей застывшие образы застывшей и



неизменной истины, хотя наружного сходства – никакого. Очевидно, речь идет не о форме, в которой воплощает себя медитация, а о глубине созерцания, из которой рождается стиль, о творчестве не от себя, а (как выразился Блайс о Бахе) по подсказке Бога, по подсказке из внеличной глубины.

Мне хочется к этому прибавить о поразительном внутреннем сходстве деревянной раскрашенной Троицы VIII в. из Нары (тогдашней столицы Японии) и Троицы Рублева. Я ничего не могу доказать, но отчетливо чувствую, сразу узнал в иллюстрации, как можно узнать знакомое и близкое лицо.

Все эти примеры – из области мистического опыта, который пробивает перегородки в пространстве, времени и господствующей культуре. Ислам, резко разводящий Бога и человека, приходит к недвойственности в суфизме, доминиканский монах Экхарт вызывает восхищение Судзуки (которого отталкивает крест, орудие казни, ставшее священным символом). А траппист Томас Мертон признан был святителями ламаизма как «природный будда». Но есть и общедоступные области, где далекое быстро становится своим, близким: звериный календарь, искусство икебаны, поэтика хокку. Не знаю, происходят ли подобные сдвиги в этике. Традиционная этика Дальнего Востока сильно отличается от западноевропейской и особенно – русской.

Когда-то, не помню точно когда, в одном из рассказов Пришвина, мне бросилось в глаза, что китайцы не плутуют в карты; а если кто сплутовал, то его убивают на месте. За этим постепенно раскрылась целая иерархия ценностей, решительно не моя. У христиан, – может быть, с оговоркой о некоторых протестантах, – милосердие выше честности. Гамлет говорит Полонию (об актерам): «Прими их лучше, чем

они заслуживают, ибо если бы все получали по заслугам, никто не избежит плетей». На Дальнем Востоке честность выше милосердия. Новорожденных, особенно девочек, крестьяне убивают, потому что разросшуюся семью не прокормишь со своего участка и придется поворовывать. В фильме «Закон Нараямы» такую разросшуюся и поворовывающую семью опутывают неводом, стаскивают в яму и живыми засыпают землей.

Высокий уровень честности дал странам Дальнего Востока возможность обогнать европейских протестантов и стать лидерами в экономическом развитии. Как-то я слышал по радио, что в Южной Корее из окна банка выпал тюк стодолларовых купюр и рассыпался по ветру. Все эти бумажки прохожие собрали и сдали в банк. Это прекрасно, и конечно лучше, чем противоположные нравы, когда вор у вора дубинку крадет. Но весь этот порядок в целом – не мой.

Есть популярная американская книга о Японии – «Меч и хризантема». Я восхищаюсь японским эстетическим вкусом, но история сорока ронинов (безработных самураев), одновременно сделавших себе харакири, или история распятого Мондзаэмона – потрясают меня и в то же время отталкивают. Конечно обе эти истории – из прошлого, но камикадзе были совсем недавно, и хочется верить, что диалог культур постепенно смягчит добродетели, слишком похожие на пороки.

Диалог культур – это не только обмен информацией. Он несет в себе импульс к переменам, к реформам, к постепенному распространению глобальных норм, глобальных прав – человека, ребенка, женщины, прав инвалида, прав религиозных и этнических меньшинств... Импульс к переменам – одна из важнейших причин, по которым православный фундаментализм противится диалогу, сжигает

книги сторонников диалога и поощряет убийство таких людей, как Александр Мень.

В современном мире, где народы стиснуты в сузившемся пространстве информации, нельзя обойтись без осторожного деления на «мое» и «не мое». Что-то «не мое» просто еще не узнано и постепенно может стать «моим». Но что-то, быть может, обречено исчезнуть. Иногда под оболочкой чужого мы узнаем единый дух, связывающий, способный связать, всю землю. А иногда в своем, привычном, как черное слово, мы должны узнать и отвергнуть дух князя тьмы.

Интуиция истины приходит в тишине, в молчании, когда сквозь затихшие воды жизни просвечивает глубина – так, как в лондонском диалоге Далай Ламы XIV с бенедектинскими монахами, когда каждое заседание начиналось с получаса молчания при зажженных свечах, и именно в эти полчаса побеждал дух единства.